

Георгий Шенгели

Пушкин в Крыму

Опыт реконструкции объекта

Печатаемое ниже – сокращенное изложение первой главы более обширной одноименной работы. Эта конспективность влечет за собой сужение цитации и полное почти устранение ссылок; пушкиноведы легко преодолеют эту особенность.

Задача всего исследования сформулирована в подзаголовке. Меня не интересовали биографические разыскания сами по себе; попытка объяснить «Бахчисарайский фонтан» биографическими фактами – еще того менее. В поле моего зрения стоял социопсихологический вопрос: о принципе отбора и переработки объективных данных, связанных с пребыванием Пушкина в Крыму, с творческой историей БФ, и о социальной природе этого принципа. Говоря схематически, мы сведем вопрос к следующему: Пушкин был на Кавказе, был в Крыму, был в Бессарабии; Пушкин создал цикл поэм: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; творчество как-то следовало по маршруту; путешествуя, Пушкин многое видел, многое наблюдал, о многом беседовал, о много думал... Спрашивается: что именно из протекшего через пушкинскую психику материала понадобилось поэту в его творчестве, как понадобилось, и почему понадобилось именно это и именно так?

Из такой постановки вопроса с ясностью вытекает рабочий метод исследования в целом: восстановить объективный материал пушкинского путешествия, определить границы его освоения и затем на этот фон проецировать данные соответствующих поэм. Далее – выводы и социологический их анализ.

По ряду объективных и субъективных причин мне казалось, что эту работу удобнее произвести в отношении пушкинского пребывания

в Крыму и «крымских мотивов» в творчестве поэта. Это ограничение исследовательского поля, естественно, снижает категоричность выводов; поэтому я и рассматриваю данную работу как «опыт». Сейчас я считаю полезным опубликовать первую главу.

Пятнадцатого августа (ст. ст.) 1820 г. Пушкин, переехав на небольшом военном судне Керченский пролив, высадился на территории Крыма. Он ехал с Раевскими.

Компанию путешественников возглавлял генерал Николай Николаевич Раевский, внучатный племянник Григория Потемкина, «великолепного князя Тавриды», – прославленный герой войны двенадцатого года, воспетый Жуковским, изображенный на десятках патриотических гравюр и патриотических лубочных картинок. Он «с семейством и свитой», как писал в своих донесениях шпион Краковский, наблюдавший на Минеральных Водах за англичанином Виллоком, а заодно и за знаменитым генералом, – совершал нелегкое путешествие из Киева на Минеральные Воды, а оттуда в Крым. При нем была, однако, лишь младшая половина семейства: сын Николай, одиннадцатилетним мальчиком участвовавший в войне с Наполеоном и во взятии Парижа, и две дочери, Соня и Машенька, впоследствии – жена декабриста Волконского, героиня «Русских женщин» Некрасова. Старший сын Александр оставался на Кавказе долечиваться, а старшие дочери, Екатерина и Елена, вместе с матерью Софьей Алексеевной, внучкой Ломоносова, были уже в Крыму, проехав туда прямо из Петербурга. В «свите» же генерала были: англичанка при барышнях – мисс Матен, русская нянюшка их и их компаньонка, затем лекарь 4-го пехотного корпуса, находившегося под командой Раевского, Е.П. Рудыковский, оригинальный русско-украинский поэт, автор многих стихотворений, басен, гимнов.

Пушкин три или четыре года был знаком с Раевскими, еще лицеистом сведя дружбу с младшим сыном генерала Николаем Раевским, чей полк стоял в Царском Селе. Пушкин встречался с младшим Раевским у Чаадаева, который тогда еще носил гусарские эполеты, но уже импонировал друзьям своей умственной силой, остротой своей политической мысли, – внушая о себе Пушкину такие слова:

Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес...

Они запросто заезжали к Жуковскому, посещали шумные заседания «Арзамаса», где чтение стихов перемежалось с насмешками над теориями Шишкова и над руководимой им «Беседой любителей русского слова», с вольными анекдотами, с хлопаньем пробок...

Юношей сблизила общность литературных интересов, и гусарский офицер тонко умел оценить блеск и силу пушкинского еще молодого, еще не развернувшегося таланта.

А когда на Пушкина надвинулась гроза императорского гнева, когда «плешивый щеголь, враг труда» Александр Первый сказал, что «Пушкина надо сослать в Сибирь: он всю Россию наводнил возмутительными стихами», Раевский оказал поэту «важные, вечно незабвенные услуги» – по-видимому, понудив отца присоединить свой влиятельный голос к голосам других заступников Пушкина – Карамзина, Жуковского, – и Пушкин вместо Сибири был выслан в Екатеринослав в распоряжение попечителя колонистов Южного края генерала Инзова, добрейшего и культурного старика, который отнесся к опальному юноше с исключительной добротой и сердечностью.

Пушкин был сильно скомпрометирован. Злые эпиграммы на царя, на всемогущего держиморду Аракчеева, страстная ода «Вольность», в которой Пушкин хотел

...воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок...

«Деревня», в которой раздались проклятия крепостному праву, наконец, дерзкая публичная бравада в театре, где Пушкин показывал знакомым портрет террориста Лувеля, убившего герцога Беррийского, с надписью «урок царям», – все это придавало лицу юноши, только что соскочившего с лицейской скамьи, опасные черты политического заговорщика. А в это время в Европе шло революционное брожение, из-под пресса реакции, туго завинченного Меттернихом, вырывались языки пламени, Карл Занд пронзил кинжалом реакционера Коцебу; в России будущие декабристы собирали свои силы и

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи...

При наличии такой обстановки замена Сибири Южной Россией была крупной удачей Пушкина, и хлопоты его друзей вполне основательно получили название «вечно незабвенных услуг». Но Раевские, кроме того, сочли нужным скрасить Пушкину первые горькие месяцы изгнания и предложили участвовать в их летнем путешествии.

В дни высылки Пушкина из Петербурга Николай Раевский был у отца в Киеве. Тогда ли существовал план встретиться с Пушкиным и увезти его с собой, как можно думать по письму Карамзина к Вяземскому, где еще 15 мая говорилось, что «Пушкин благополучно поехал в Крым месяцев на пять», и по некоторым другим обстоятельствам, или встреча Раевских с Пушкиным в Екатеринославе произошла случайно, и решение пригласить его в путешествие родилось в момент встречи, – но Раевские, приехав в двух каретах в Екатеринослав 26 или 27 мая, уже на другой день увозили с собою Пушкина, без труда получав от Инзова согласие на его отпуск. Пушкин был болен, простудившись во время купанья в Днепре, лежал в жалкой комнатке на Мандрыковке, окраине Екатеринослава, и характерно для отношения к нему Раевских то обстоятельство, что отыскивать поэта вечером в чужом городе отправился не только друг его Николай, но и старик Раевский, не обращая внимания на дистанцию, отделявшую его, заслуженного генерала, от опального и нищего «сочинителя».

Пятого июня Раевские прибыли на Горячие Воды (нынешний Пятигорск), проехав Мариуполь, Таганрог, где Пушкин впервые увидел южное море, Ростов, Новочеркасск, Ставрополь, Георгиевск, и ровно через два месяца выехали через Кубанские степи в Крым.

Осенью, уже из Кишинева, Пушкин писал брату:

«Я лег в коляску больной; через неделю вылезился. Два месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался

в теплых кислосерных, в железных и кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижимыми; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии любопытен во всех отношениях... Видел я берег Кубани и сторожевые станицы, – любовался нашими казаками. Вечно верхом, вечно готовы драться; в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных *полей* свободных горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за ними тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа – они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению... С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма...»

И вот пятнадцатого августа Пушкин вступил на крымскую почву в том самом месте, куда своею авторской волей он заставил впоследствии высадиться Евгения Онегина:

...Он едет к берегам иным,
Он прибыл из Тамани в Крым...
Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат...

«Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я...» – писал Пушкин брату.

Керчь пушкинских времен представляла собою жалкий городишко, состоявший из одной длинной улицы, тянувшейся у подножия Митридатовой горы от старого турецкого форта на берегу

моря (приблизительно на месте нынешнего Нового базара) до сохранившейся поныне заставы в виде двух невысоких башенок с каменными изваяниями грифов. В ней не было ни одного сколько-нибудь примечательного в архитектурном или историческом отношении здания, за исключением древней греческой церкви, построенной еще в VIII веке и хранившей в себе пергаментные духовные книги тысячелетнего возраста, древние иконы и утварь. Останки же героического прошлого – античные храмы и статуи, здания римской и византийской эпохи, катакомбы и усыпальницы – все то, что в дальнейшем дало Керчи прозвище русской Помпеи, еще скрывались под землей под трехсаженной толщей «культурного слоя». На крепостной площади, правда, валялась груда обломков: куски надгробий, черепки древней посуды, колоссальный торс статуи, изображавшей, по-видимому, женщину. Но эти жалкие остатки слишком мало соответствовали представлению, вызывавшимся историей Пантикапеи.

А эта история была у всех на устах. Все, кто посещали Крым и писали о нем, все подробно останавливались на прошлом Керчи, этого некогда славного города, о котором упоминали еще Страбэн и Плиний. Пантикапея, столица Боспорского царства, колония милезийцев, прожила большую историческую жизнь, выдав у своих стен скифов, римлян и готов, гуннов и вендо, хазар и славян. Ее осаждали войска Помпея, в ней понтийский царь Митридат VII Эвпатор собственноручно утопил изменника-сына и после безуспешных попыток отравиться (яд не действовал на его специально приученный к ядам организм) бросился на меч, послужив через семнадцать веков Расину героем для трагедии. Непрерывный прибой племен, перекатывавшихся через Пантикапею, легенды, окружившие это имя, исторические картины войн, заговоров и мятежей, – все это увлекало, и каждое «Путешествие в Тавриду» обязательно включало в себя пространный исторический экскурс о Пантикапее-Керчи.

Пушкин, знакомый, конечно, с рядом таких работ, если не непосредственно, то по рассказам, готовился прикоснуться к истории, но был разочарован:

«На ближней горе, – пишет он брату, – посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных, заметил не-

сколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни – не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землей, – вот всё, что осталось от города Пантикапеи.

Через четыре года, прочитав книгу И.М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 г.», очень богатую наблюдениями, Пушкин в письме к Дельвигу вновь вспоминал свое знакомство с Керчью:

«Я тотчас отправился на так называемую Митридатову гробницу (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи и только...»

А в черновом наброске того же письма имеется еще такая характерная фраза: «воображение мое спало; хоть бы одно чувство, нет!».

«Ближняя гора», на которую подымался Пушкин и где он сорвал цветок, это нынешний Митридатов холм, вышиною около 120 метров, до половины уже застроенный. Холм весьма резких и характерных очертаний с многочисленными выходами утесов известняка. Один из таких утесов на самой вершине носит следы обработки: его верхняя поверхность сглажена и аккуратно вырублена в некоторых местах, образуя род сиденья. По преданию, с этого сиденья, «трона», Митридат любовался морем. Вид с этого утеса открывается очаровательный. Слева, к северу, нежные кольцеобразные долины, справа горизонт замыкается волнистою цепью Юз-Оба (Сто курганов). К самому подножью горы подступает круглая бухта, ограниченная слева и справа обрывистыми мысами и разворачивающаяся в тридцатикилометровую ширь пролива, в который с таманского берега врезаются две тонкие песчаные косы с архипелагом островков, и за которым бледно-фиолетовым облаком рисуется кавказский берег. Благодаря особым условиям воздухообмена между теплым Азовским и более холодным Черным морем и раскаленной степью Керченского и Таманского полуостровов, закаты здесь отличаются особой яркостью и красочностью, и расцветченные облака на востоке отражаются в спокойной воде бухты. Пушкин

как раз подымался на Митридатов холм на закате. И.М. Муравьев-Апостол, посетивший Керчь через два месяца после Пушкина, пишет:

«С горы вид прелестнейший на Боспор: берега, коса, излучистые заливы Тамани... Я мечтал здесь о событиях, прославивших Тавриду, от изгнания кимериан скифами до населения ее выходцами из Ионии, от покорения Боспора царю Митридату до...»

Пятидесятилетний Муравьев, видевший то же, что видел юноша Пушкин, увидел больше, чем он.

«Золотой холм» (Золотой курган, Алтын-Оба), упоминаемый Павзанием, греческим географом II века, в трех верстах от города по продолжению Митридатского хребта, в настоящее время разрушен: нет циркульного склепа, нет портика – а все это было еще во времена Пушкина. Павел Сумароков за двадцать лет до Пушкина лазал внутрь усыпальницы. В наши дни остались только несокрушимая циклопическая стена, нижний ярус которой сложен из каменных призм длиной в два и три метра и толщиной в метр и более, да ров, убегающий к северу километров на пять, – последние следы крайнего укрепления Пантикапеи.

Характерно, что единственная открытая при Пушкине древняя усыпальница и исключительная стена, вызывающая представление о чудовищном нечеловеческом труде, необходимом для втаскивания на гору двадцатитонных глыб, – что эти монументальные памятники древности превратились у Пушкина в «ряды камней». Правда, может быть, Пушкин не интересовался подняться на холм, увенчанный Золотым курганом (почтовый тракт, которым ехали Раевские, и поныне пролегает у подножия холма, и стометровая высота скрадывает действительные размеры циклопической постройки), но и эта незаинтересованность характерна.

Любопытно отметить, что Гераков, в один день с Пушкиным приехавший в Керчь, сорокапятилетний рассудительный и туповатый чиновник, посидел на Митридатовом «троне» и помечтал о прошлом, тот же Гераков посетил Греческую церковь и осмотрел ее незаурядные реликвии, которых Пушкин не удостоил вниманием.

Примечательно, что и характерная бытовая обстановка не задержала на себе пушкинского взора. Керченское население было в ту пору преимущественно греческим. Свообразные костюмы, деревянная обувь женщин, типичная для Востока уличная жизнь: столики и коврики у дверей, площадные цирюльни и кофейни, чужая речь, окрики верблюжьих погонщиков (тогда верблюды не были редкостью в Крыму) – все это могло и должно было заинтересовать. Наконец, в день приезда Пушкина в Керчь был храмовой праздник в соседнем городке Еникале, и в этот день бухта переполняется разукрашенными лодками, перевозящими празднующих в Еникале и обратно: происходит нечто вроде примитивного водного карнавала. Ни о чем подобном нет ни намёка в письмах Пушкина, хотя тот же Гераков отмечает ряд упомянутых нами моментов.

Таким образом, бросается в глаза и требует себе объяснения бедность первых впечатлений Пушкина от Крыма.

На другой день Пушкин с Раевскими выехал на лошадях из Керчи в Феодосию, или, как тогда еще говорили, в Кефу. Стокилометровый путь по мелкохолмистой степи ничем не замечателен, если не считать нередких там миражей да бегущего на полупути поперек Керченского полуострова Ассандрова вала, которым владения Пантикапеи были ограждены от кочевников. Этот путь Пушкин никак не отметил.

В Феодосии Раевские остановились у Семена Михайловича Броневского, бывшего феодосийского градоначальника, масона и литератора.

За четыре года до того Броневский был смещен, не поладив с новороссийским генерал-губернатором, и отдан под суд. В полутора верстах от Феодосии у него был миндальный сад и виноградник, и доходами от них Броневский существовал. Страстный патриот Крыма, Броневский много рассказал о нем своим гостям. Пушкин писал брату:

«Из Керчи приехали мы в Кефу, остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе и бедности. Теперь он под судом – и подобно старику Вергилию разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. Он не ученый человек, но имеет большие сведения о Крыме, стране важной и запущенной...»

Мы никогда не узнаем, что именно говорил Броневский Пушкину и Раевским, но, вдумываясь в пушкинские определения – «важной и запущенной», – без натяжки можем угадать, что Броневский сравнивал бывшее хозяйственное процветание Крыма, превращенного войсками Миниха и Ласси еще в 1736 г. в полупустыню, с его настоящим положением опустевшей от татарской эмиграции страны и указывал на экономические перспективы, стоящие перед ним. Если мы вспомним, что в XVI веке польским послом при дворе крымских ханов был Мартин Броневский, оставивший после себя книгу «Tartariae Description» («Описание Тартарии»), являющуюся важным историческим источником, и что эта книга, несомненно, была в поле зрения С.М. Броневского (возможно, потомка Мартина) вместе с составленным при Потемкине «Камеральным описанием Крыма», документом, легшим в основу всей административной работы русских в Крыму, а Броневский по должности градоначальника был в курсе этой работы, то историко-экономический характер беседы Броневского с его гостями станет еще более вероятным. К этому можно прибавить, что служебные неприятности Броневского были результатом его столкновений с хлебными экспортёрами (см. у Вигеля, бывшего в 1826 г. керченским градоначальником, о его тарифной войне), и об этих неприятностях он рассказывал Раевским («теперь он под судом») с убедительной мотивировкой своей правоты («по непорочной службе»), значит – с обстоятельным изображением экономической обстановки.

Пушкин, однако, не раскрывает своей схемы, и приведенными строками ограничиваются все его высказывания о феодосийских впечатлениях.

Между тем античная Феодосия, генуэзская Каффа, турецкий Кучук-Стамбул (Маленький Стамбул), в дни Пушкина уже оправлявшаяся от крайнего упадка, была несравненно богаче Керчи внешними знаками былой исторической значительности. Современным Пушкину гравюры изображают десятки массивных башен и четкие линии генуэзских крепостных стен, множество минаретов, древние лестницы и монументальные фонтаны. На площади возвышалась главная мечеть, по словам П. Сумарокова, «обширностью более московского Успенского собора», лишь

через десять лет после пушкинского посещения разобранный по приказу вандала губернатора, очищавшего место и добывавшего камень для русской церкви в ложно-византийском стиле. До сих пор сохранилось немало башен и древних армянских церквей с их характерными шатровыми главами, до сих пор красуются обширные фронтоны фонтанов,

...Хранящих герб
То дождей, то крымских ханов:
Звезду и серп.

М. Волошин

До 1920-го года была в целости замечательная по архитектуре и архаической внутренней простоте турецкая баня; донныне чаруют своим восточным колоритом полутораметровые кривые переулочки Караимской слободки с безоконными стенами домов...

За двадцать лет до Пушкина П. Сумароков писал о Феодосии:

«Кафа представляет прекрасное и странное для взора зрелище. Острые верхи минаретов, куполы мечетей, протягивающиеся по высотам остатки некоторых стен... Город сей походит на опроверженный землетрясением...» Покидая Феодосию, тот же Сумароков говорит: «Оставя сию томную и поразительную страну...».

Эта историческая выразительность Феодосии ни малейшей чертой не упомянута у Пушкина. Посетивший в том же году в середине октября Феодосию А.М. Муравьев-Апостол отмечает ряд любопытных бытовых черт. Он навещил феодосийский карантин, где отстаивались пришедшие из Турции суда, где лежали «страшные кучи длинных анатолийских орехов» (стручков, «рожков»), и где по случаю моровой язвы в Стамбуле разбирать привезенную оттуда хлопчатую бумагу, возможную носительницу заразы, обречены были каторжане. Муравьев красноречиво описывает, как несчастные должны были запускать обнаженные до плеч руки в толщу кип и затем находиться под наблюдением: заболеют или нет... Мы не знаем, мог ли застать такую же картину Пушкин, но он мог бы поинтересоваться, особенно после беседы о стране «важной и запущенной».

Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданных вин?
И что чума?..

Он не поинтересовался.

Таврический губернатор Баранов, узнав о прибытии в Крым Н.Н. Раевского, предписал 17 августа феодосийскому исправнику озаботиться снабжением генерала лошадьми для следования на южный берег, но исправник, находившийся в то время в деревне Азамат, в 60 верстах от Феодосии, рапортом от 20-го августа уведомил начальство, что генерал Раевский уже выехал в Гурзуф на брандвахте. Таким образом, мы получаем дату 17-18 августа, когда Пушкин должен был сесть на корабль.

Этот корабль был военным бригом, небольшим двухмачтовым судном с прямоугольными парусами на обеих мачтах. В керченской флотилии, обслуживавшей и Феодосию, было три брига: «Меркурий», прославленный в 1829 г. победоносным боем с двумя турецкими фрегатами, «Пегас» и «Мингрелия». Который из них был предоставлен Раевскому, нам неизвестно.

Бриг вышел из Феодосии под вечер и прибыл в Гурзуф вскоре после восхода солнца. Пушкин провел всю ночь на палубе и написал первое свое крымское стихотворение. В письме к брату он рассказывает:

«...Морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я элегию... Корабль плыл перед горами, покрытыми то полями, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа».

Тот же рассказ, но более детальный, содержится в письме к Дельвигу:

«Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал; луны не было; звезды блистали; передо мною в тумане тянулись полуденные горы. «Вот Чатырдаг», сказал мне капитан. Я не различил его да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленны-

ми к горам; тополя, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аюдаг... и кругом это синее чистое небо и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...»

Мы сразу видим, что «тополи, виноград, лавры и кипарисы», упоминаемые в письме к брату, присочинены Пушкиным: безлунною ночью с корабля, срезающего по хорде глубоко вдающиеся бухты восточной части южного берега, совершенно невозможно разглядеть растительность самое по себе, не только разобраться в ее породах. Близ Феодосии же, где Пушкин мог плыть еще за-светло, никаких кипарисов и лавров нет. Вполне точная картина, открывающаяся ночью с корабля, сводится в этих местах к совершенно черному силуэту гор; причем топографическое раз-нообразии Коктебельских, Судакских и Алуштинских нагорий тонет на довольно однообразном фоне более высокой Яйлы. Да и сам Пушкин говорит, что и Чатырдага с его характерной формой он не различил. Таким образом, детали, упоминаемые им в письме к брату, – сводка позднейших впечатлений.

В эту ночь Пушкин, как и раньше, «не любопытствовал»; в данном случае это понятно: он был захвачен творчеством. Когда же творческий подъем миновал, Пушкин стал более отзывчив на внешние впечатления: утренняя картина Гурзуфа богата деталями и красками. Соответственные строки письма к Дельвигу Пушкин повторил впоследствии в стиховой обработке:

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груди ваших гор,
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь...

Непосредственно же на месте впечатления Юга никак не были фиксированы Пушкиным: он «тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью итальянского лаццарони» (письмо к Дельви-гу). Более того: в первом черновике этого письма есть зачеркнутая строчка: «холодность моя посреди прелестей природы была... досаждала и смешила». Фраза белого письма «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом» в первом черновике дополнена словом: «и спал». Лиризм же пушкинский был направлен в другую сторону. Вот строки, сложенные им на корабле:

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края:
С волнением и тоской туда стремлюсь я,
Воспоминая упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь:
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает:
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной угрюмый океан.
Лети, корабль, носи меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,

Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края,
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покою, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златя,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

В этом стихотворении все – «литература»: условные формулы условных «поэтических» переживаний, выдержанный орнамент романтического мировосприятия. Спокойное августовское море превратилось в «угрюмый океан»; судно, совершавшее в непосредственной близости берега весьма будничным рейс из Феодосии в Гурзуф, должно было нести поэта «к пределам дальним по грозной прихоти обманчивых морей», мальчишеская молодость Пушкина, который два месяца назад, регистрируясь в Пятигорской комендатуре, записал доктора Рудыковского лейб-медиком, а себя недорослем, стала «отцветшей в бурях, потерянной младостью»; высылка из Петербурга и дружеское гощение у Раевских приняли облик самостоятельного «бегства» от «питомцев наслаждений» и от «изменниц младых» и т. д.

Впрочем, Пушкин и сам не скрывал романтической условности своей элегии: она носила подзаголовок «Подражание Байрону» и в рукописи имела эпиграфом строку из знаменитой прощальной песни Чайльд-Гарольда, разочарованно покидавшего Англию: «My native land, good night!» («Мой край родной, прощай»), да и кроме того, во многом совпадает с этой песнью.

Много лет спустя в рецензии на стихотворения Теплякова Пушкин писал:

«В наше время молодому человеку мудрено, садясь на корабль не вспомнить лорда Байрона и невольным соучастием не сблизить судьбы своей с судьбой Чайльд-Гарольда. Ежели молодой человек еще и поэт, и захочет выразить свои чувствования, – то как избежать ему подражания?»

В дальнейшем Пушкин сам посмеялся над своей «отцветшей в бурях младостью», заставив Ленского петь:

...поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет,

что не мешало тому же Ленскому восторгаться:

Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь!

А о своем двадцатидвухлетнем брате Льве Сергеевиче Пушкин впоследствии писал Дельвигу:

«...малый проворный... Он задолжал у вашего Andrieux 400 руб. и убудил жену гарнизонного майора. Он воображает, что имение его расстроено и что истощил всю чашу жизни. Едет в Грузию, чтобы обновить увядшую душу. Уморительно».

Книжный налет «унылого романтизма» на весьма резвых буднях не остался, таким образом, для Пушкина незамеченным и непонятым, «Гарольдов плащ» был расценен Пушкиным как маскарадная одежда на плечах «москвича»...

В Гурзуфе путешественников встретила Софья Алексеевна Раевская, жена генерала, и две их старшие дочери: Екатерина Николаевна, девушка двадцати трех лет, и семнадцатилетняя Елена Николаевна.

Раевские поселились в «замке» тогдашнего «владельца Гурзуфа» герцога Ришелье, уже покинувшего Россию для службы возвращенным на французский престол Бурбонам. Этот «замок» был единственным европейского типа зданием на всем южном берегу и по давнему обычаю служил чем-то вроде гостиницы всем знатным путешественникам, посещавшим Гурзуф. Дом был крайне неудобен для жилья, но за неимением ничего другого с ним при-

ходилось мириться. Путешествовавший по Кавказу и Крыму Дюбуа де Монпере писал о «замке»:

«Дом, построенный герцогом, был настоящий воздушный дворец, ибо весь состоял из лестниц и галерей, кроме двух или трех маленьких комнат, выделенных в середине здания. Видно, что владелец искал только воздуха и видов».

Николай Павлович, впоследствии император, посетивший Гурзуф в 1816 г., Муравьев-Апостол, бывший там через месяц после Раевских, капитан английского флота Джонс, захвативший в дом Ришелье в 1823 г., все согласно бранят здание, отмечая его нелепую архитектуру, тесноту жилых комнат и т. д. Впрочем, как дачное помещение он был сносен. В дальнейшем дом подвергался перестройкам и в нынешнем своем виде мало напоминает пушкинское обиталище. Та комната, которую теперь показывают как «пушкинскую», вообще не существовала в пушкинские дни, и поэт, вернее всего, помещался с младшим Раевским в мансарде дома, снесенной в 1861 г.

Потянулись блаженные для Пушкина три недели.

«Мой друг, – писал Пушкин брату, – счастливейшие минуты жизни моей я провел посреди семейства почтенного Раевского. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой я никогда не наслаждался, – счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение: горы, сады, море; друг мой, любимая надежда моя – увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского...»

О том, как протекала курортная жизнь Раевских и Пушкина, мы почти не имеем данных. Надо думать, что обычные прогулки в горы, купанье, катанье на лодке и т. п. имели свое место, но едва ли значительное; Пушкин только упоминает о поездках верхом, вероятно, одиноких, так как его друг, младший Раевский, прихварывал, генерал навряд ли был очень подвижен по возрасту и из-за многочисленных старых ранений, а поездки с девицами были невозможны по тогдашним правилам приличия.

В письме к Дельвигу Пушкин сообщает:

«Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис;

каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот всё, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти».

Этот кипарис стал легендарным, привлекая к себе чувствительных туристов и попав в стихи Некрасова, причем последний «для поэзии» заставил соловья прилетать на этот кипарис и петь в сентябре.

Однако, сопоставляя с только что приведенными строками Пушкина указанные выше фразы из черновиков этого же письма о том, что поэт «объедался виноградом и спал» и что его «холодность посреди красот природы досаждала и смешила», можно думать, что ежедневные визиты, наносимые кипарису, были не более чем романтическим ритуалом.

Окрестности Гурзуфа – причудливые береговые скалы, грандиозные утесы Аюдага, живописная долина горной речки Сунарпугана, развалины генуэзских и римских укреплений – ничто из этого конкретно не фигурирует ни в стихах Пушкина, ни в его письмах. «Полуденная природа», показу которой Семен Бобров в своей «Тавриде» посвящает сотни стихов, перечисляя растения, животных, птиц, – у Пушкина фигурирует также в общем, расплывчатом облике. Более того: в цитированном письме к Дельвигу, в черновике, написав: «видел и тополи, и кизили, и виноградные лозы», – Пушкин вычеркивает «кизили», стирая колоритную черту в угоду условно-приподнятому представлению о «полуденной природе», которой приличествуют пирамидальные тополи, лавры, мирты и которую принижают прозаические кизили, дубы, «держи-дерево»...

Татарский быт также не привлек внимания Пушкина. Он оставил нам в «Онегине» оборванную многоточием фразу:

А там, меж хижинок татар...

и в «Желании» две строки, свидетельствующие о весьма поверхностном подходе к бытовой и социальной обстановке татарского населения:

Повсюду труд веселый и прилежный
Сады татар и нивы богатит...

Бывшие хозяева Крыма задыхались в земельной тесноте, уступая лучшие места русским вельможам и их родственникам. Потемкин щедрою рукою раздавал земли, конфискуемые у эмигрировавших в Турцию татар, причем в неразберихе завоевания земли отбирались и у тех, кто оставался. Знаменитый адмирал Мордвинов оттягал у татар всю Байдарскую долину. Герцог Ришелье купил Гурзуф, ценившийся незадолго до нашей революции в миллионы, за четыре тысячи ассигнациями – «после смерти какого-то бездетного татарина». К этому колониальному нажиму присоединился национальный экономический пресс: земельные права мурз и мулл. И труд рядового татарина, весьма «прилежный», едва ли был «веселым» и, «обогащая сады и нивы», едва ли обогащал своего носителя.

Но и помимо экономических отношений, несомненно, известных Раевским (их родственник А.М. Бороздин был владельцем соседнего Кучук-Ламбата и поддерживал с Раевскими тесную связь), чисто жанровые картины татарского быта остались неотмеченными у Пушкина. В 1821 г. Пушкин стал набрасывать шутивную повесть, начинавшуюся так:

Недавно бедный мусульман
В Юрзуфе жил с детьми, с женою,
Душевно почитал священный Алькоран
И счастлив был своей судьбою...

Дальше рассказывалось, как беременная жена Мехмета (так звали татарина) потребовала от мужа, чтобы он накормил ее каймаком (род простокваши), и Мехмет отправился доставать каймак. Повесть оборвалась на 55-м стихе. Казалось бы, перед нами попытка дать жанровый очерк татарского быта. Но и этот неоконченный набросок – не что иное, как довольно близкий пересказ стихотворной сказки малоизвестного французского поэта Антуана Сенесе (1643-1737) «Le koimek, ou la con-liance perdue». Пушкин только перенес действие из малоазиатской Вифинии в крымский Гурзуф. Для попытки набросать жанр Пушкину понадобился литературный предшественник, хотя бы и третьесортный.

Если знакомство с окрестностями, с жизнью татар не занимало сколько-нибудь широкого места в гурзуфских досугах Пушкина, если он действительно «сидел сиднем», то возникает вопрос: чем эти досуги заполнялись?

В Гурзуфе Пушкин работал над «Кавказским пленником», начальные наброски которого относятся к первым дням пребывания в Гурзуфе. Закончена же поэма была только через шесть месяцев, в конце февраля 1821 г. Кроме «Кавказского пленника», Пушкин в Гурзуфе не писал ничего. Если бы предположить, что эта поэма была вся написана под кровом ришельевского «замка», то и тогда ежедневная порция работы не превышала бы тридцати стихов. А мы знаем, что в эпоху работы над «Полтавой» ежедневно писалось не менее ста стихов. Болдинская осень 1830 г. дала за два месяца около 4½ тыс. стихов и около 3½ печ. листов прозы. 350 стихов «Графа Нулина» были написаны, по словам самого Пушкина, «в два утра». Таким образом, даже если бы весь «Пленник» был написан в Гурзуфе, эта работа по интенсивности была бы гораздо ниже работы в названные моменты творческого «запоя». В действительности же писание стихов едва ли заняло у Пушкина более чем два-три утра.

В доме нашлась небольшая старинная библиотека, откуда Пушкин извлек Вольтера и перечитывал его. Затем с младшим Раевским Пушкин читал Байрона в подлиннике. Поэт в ту пору очень плохо знал английский язык; по-видимому, в нем не очень тверд был и Раевский; по крайней мере друзья частенько за неимением словаря посылали к Екатерине Николаевне спрашивать, что значит то или другое слово. При таких обстоятельствах даже страстное увлечение Байроном едва ли могло на долгие часы приковывать друзей к «Чайльд-Гарольду» и «Корсару». Есть свидетельство, что Пушкин брал у Екатерины Николаевны уроки английского языка, но когда эти данные в 1874 г. опубликовал Анненков, Екатерина Николаевна, уже глубокая старуха, протестовала против этого утверждения, заявляя, что в старое время подобное занятие девицы и юноши было бы сочтено неприличным и не могло быть дозволено родителями. Этому можно поверить, тем более что за уроками Пушкину всего естественнее было бы обратиться к англичанке мисс Матен, сопутствовавшей Раевским.

За вычетом литературных занятий и чтения, за вычетом известного количества часов, уделяемых крымскому ничегонеделанию на берегу или в тени сада, остается общение с семьей Раевских в целом – как основное времяпрепровождение Пушкина. Он сам подчеркивает эту атмосферу близости: «посреди семейства Раевских», «в кругу милого семейства». После Крыма Пушкин месяцами гостил у Раевских в Каменке.

Общение с Раевскими действительно могло заполнить время и занять внимание.

Старик Раевский был весьма незаурядным человеком с большим жизненным опытом, с запасом рассказов о своем деде Потемкине, о своем дяде графе Самойлове, бывшем генерал-прокурором при Екатерине, о войне 12-го года. Патриот, националист, предпочитавший говорить и писать по-русски, а не по-французски, как было тогда принято в высшем обществе, любитель поэзии, имевший своим адъютантом Батюшкова, Раевский был, по словам Пушкина, «насмешлив и желчен», и его недолюбливали в Петербурге: прямолинейная личность старого солдата казалась слишком угловатой в низкопоклоннической и интриганской атмосфере двора. Эта насмешливость и желчность, распространявшаяся на многие явления тогдашней жизни и политики, в известной мере должна была импонировать вольнолюбивым и задорным мечтам Пушкина. Поэт в письме к брату так характеризует Раевского:

«...я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасною душою; снисходительного попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12 года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».

Фактическое сиротство Пушкина, много лет проведенного в закрытом учебном заведении и не имевшего никакой духовной связи со своим отцом, вечно брюзжащим, скупым и легкомысленным человеком, с особенной силой должно было его толкать к столь крупной и содержательной личности, какою был старик Раевский.

О младшем сыне Николае мы уже говорили. Тот факт, что ему был посвящен впоследствии «Кавказский пленник», что Пушкин делился с ним глубокими и тонкими своими соображениями о классической трагедии и шекспировской драме (письмо поэта к Николаю Раевскому из с. Михайловского в конце июля 1825 г. представляет собою целый трактат по поэтике), свидетельствует о широком культурном кругозоре молодого офицера, которому выпала на долю честь быть проводником Пушкина по вершинам байроновской поэзии. Общение с ним заменяло Пушкину отсутствие литературной среды.

Литературным собеседником мог быть и доктор Рудыкобский, большой любитель книги, автор многих десятков од, патристических и религиозных стихотворений на русском языке и множества басен, сказок, пародий и т. д. – на украинском.

Девуцы Раевские также были для поэта источником богатых переживаний. Прежде всего – по линии сердечных увлечений. Наличие четырех хорошеньких образованных и воспитанных девушек (младшей было лет 13-14, но по понятиям того времени этот возраст был уже близок к девическому), девушек, совсем не похожих ни на чванных дев петербургских гостиных, ни на ветреных театральных воспитанниц, с которыми водился в Петербурге «почетный гражданин кулис» Пушкин, – не могло не пленять влюбчивого поэта, который, по собственным словам, бывал влюблен во всех более или менее хорошеньких женщин, встречавшихся ему. Буквально то же сказала о нем в своих мемуарах, написанных почти через сорок лет, Мария Раевская.

Пушкин восторгался шаловливой резвостью черноглазого подростка Марии, промочившей ноги в грациозной игре с набегавшей волной (этот случай был раньше, при проезде через Таганрог), и в дальнейшем писал:

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Сама Мария Николаевна так вспоминала этот эпизод в своих мемуарах:

«Я помню, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софией, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убежать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было только 15 лет».

И дальше Мария Николаевна приводит цитируемые нами стихи.

Пушкина волновала и болезненная хрупкость другой сестры, Елены, веяние обреченности, сквозившей в ее больших голубых глазах. Чувство Пушкина выразилось в элегии:

Увы, зачем она блистает
Минутной, нежной красотой!
Она приметно увядает
Во цвете юности живой...

Привлекала его и романтическая томность, с которой она же смотрела на Вечернюю звезду, называя ее своим именем.

Впрочем, Пушкин умел и поддразнивать Елену, которая переводила Байрона и Вальтер-Скотта на французский язык, подбирая у нее под окном клочки разорванных рукописей и преувеличенно восторгаясь достоинствами переводов.

Старшая из сестер, Екатерина, также привлекала внимание поэта. Умная и властная девушка, умевшая в дальнейшем авторитетно руководить великосветским политическим салоном своего мужа, М.Ф. Орлова наиболее четкими чертами рисуется на общем фоне женской половины семьи Раевских. Несколько лет спустя Пушкин сам подтвердил ту зоркость, с которой он приглядывался к незаурядной девушке: создав «Бориса Годунова» и вырисовав в этой драматической поэме образ Марины Мнишек, поэт писал Вяземскому:

«Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова, знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому».

С нею же, по-видимому, Пушкин вел беседы, следы которых остались в его произведениях. Строки «Бахчисарайского фонтана»:

Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали...

дополняются строчкой из письма к Дельвигу (1824 г.):

«Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К. поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*».

А в первом черновике этого письма есть зачеркнутые полстроки: «Поэтическое воображение К** назвало...»

Таким образом, усердная читательница Байрона и страстный его поклонник находили порою общий язык для романтических мечтаний.

По-видимому, Пушкин пытался еще «байронствовать» с Екатериной и в житейском, а не только в литературном плане: через год с небольшим Екатерина Николаевна, уже вышедшая замуж и жившая в Кишиневе, куда еще раньше приехал Пушкин, писала старшему брату:

«Пушкин больше не корчит из себя жестокого; он часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно».

Атмосфера легкой влюбленности, романтические мечтания и байронические флиртовые поединки, атаки «жестокое» на уравновешенное сердце девушки – вот та почва, на которой строились отношения Пушкина к девицам Раевским, введенные, конечно, в строгие рамки старинного семейного уклада, хотя и слегка расшатанного условиями экзотического путешествия.

Впрочем, Пушкин тайком, крадучись пытался переступить эти рамки. Страстный юноша с повышенной сексуальной возбудимостью, часто встречавший легкую любовь в Петербурге и имев-

ший по этой части большой опыт, не мог не искать выхода своим импульсам. В какой среде разворачивались его поиски, нам неизвестно. Татарский семейный уклад едва ли мог дать этим поискам какой-нибудь простор. О какой-либо русской семье, жившей тогда в Гурзуфе, у нас тоже нет никаких данных. Остается допустить – и то лишь в порядке напрашивающегося предположения, – что объектом неприкрашенных любовных домогательств поэта был кто-нибудь из женского персонала, обслуживавшего семью Раевских. Помимо же этого, Пушкин давал волю своей чувственной мечте и своему нескромному взгляду, попросту подглядывая за купающимися в море девицами:

Среди зеленых волн, ласкающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел вздохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.

Таким образом, «свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства» слалась для Пушкина из бесед на исторические и политические темы, из литературных разговоров, из романтически-мечтательной болтовни, из наблюдений над незаурядными индивидуальностями членов семьи Раевских – и все это на фоне легких флиртовых переживаний, осложненных более сильными и более грубыми прорывами страстной природы поэта.

Три недели в Гурзуфе минули быстро.

Генералу Раевскому надо было уезжать, и давно пора было ехать и Пушкину. 4 или 5 сентября старик Раевский и Пушкин покинули Гурзуф, верхом направляясь по горным тропам западной части Южного берега. Они пробрались опасным ущельем в районе Кикенеиза, перевалили через горы, свернули в сторону с целью посетить Георгиевский монастырь и затем, минуя почему-то Севастополь, находящийся в двенадцати верстах от Георгиевского монастыря, взяли путь на Бахчисарай.

Первая часть их дороги изобиловала выразительными пейзажами (вид на весь Южный берег с высот Яйлы) и характерными

дорожными деталями: приходилось пробираться иссохшими руслами горных речек, продираться сквозь заросли и одолевать карнизы первобытных тропинок, вьющихся над пропастями. Император Николай I, вспоминая свое путешествие по этим местам в 1816 г., писал: «Тогда не иначе можно было ездить, как верхом, на привычных лошадях, нередко с опасностью, через горы».

Муравьев-Апостол такими красками описывает «Чертову лестницу», спуск близ Кикенеиза:

«...начался ужаснейший спуск, который одним помышлением о нем наводит трепет... Это место по всей справедливости можно было бы назвать Флегрейскими полями, где, по языческому преданию, чада земли сражались с небожителями... Страшные их (скал) обломки висят над головою и на каждом шагу грозят страннику участью Титанов».

Пушкин, прочитав книгу Муравьева, писал Дельвигу: «Я объехал полуденный берег, и путешествие М. оживило во мне много воспоминаний; но страшный переход его по скалам Кикенеиза не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным восточным обрядом...».

Таким образом, и тут сказалось то «различие впечатлений», которое поразило самого Пушкина при чтении муравьевской книги: Пушкин оказался невосприимчив к грозным деталям горного пути.

О дальнейшей дороге Пушкин пишет:

«Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза. Сердце мое сжалось: я начал уж тосковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде, все еще видел и тополи, и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере, тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой эвмениды;
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданием возгордилось.
Ч(адаев), помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина.
И в умиленьи вдохновенном
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена...

Любопытно отметить в этом отрывке противопоставление северной березы – как символа «туманной родины» – традиционным тополям и виноградным лозам, хотя на горных высотах ни те, ни другие не встречаются. Можно думать, что Пушкин расценивал природу Южного берега не самое по себе, с ее специфическими очарованиями, но как вещественные знаки экзотической страны, «пределов дальних». К этому моменту, важному для понимания пушкинских переживаний в Крыму, мы еще вернемся.

Характерно и другое: «сильное впечатление», произведенное гигантским обрывом, по которому спускается к морю тропа от Георгиевского монастыря. Действительно, пейзаж этот чрезвычайно выразителен: справа мыс Фиолент, пятисотметровой высоты, близ которого поднимаются из моря колоссальные обелиски когда-то отделившихся от берега утесов. Слева врезается в море еще более монументальный мыс Айя, каменные

границ которого на закате становятся пурпурными (по расчету времени и расстояния путники должны были прибыть в Георгиевский монастырь к вечеру). Прямо против монастыря недалеко от берега – небольшой остров: рухнувшая в море скала. Все это грандиозно и величественно, но подобные картины Пушкин видел и в Гурзуфе (такой же пурпурный на закате Аюдаг), и с высот «Чертовой лестницы». Поэтому «сильное впечатление» представляется мало обоснованным, и напрашивается мысль о неполной искренности Пушкина в этом вопросе, тем более что сложившиеся там стихи ни малейшего отношения к пейзажу не имеют – так же, как и созданная на корабле элегия «Погасло дневное светило»; а ведь в последнем случае Пушкин «не любопытствовал».

Многозначительно и признание Пушкина в том, что для него «мифологические предания счастливее воспоминаний исторических». Развалины полулегендарного храма Дианы (Артемиды) Таврической в конце концов были не более чем беспорядочной грудой камней, обомшелых и источенных временем и ветром, какие Пушкин видел в Керчи или мог видеть на вершине Аюдага, где императором Юстинианом I было возведено укрепление. Но связанный с этим храмом величавый миф об Ифигении, многократно подвергавшийся литературной обработке, разбудил в Пушкине лирическое волнение и породил стихи. То, что уже было литературой, оказалось для Пушкина литературно плодоносным. Правда, ассоциация увела Пушкина далеко от Артемиды Скифской: миф об Оресте и ПилADE послужил лишь трамплином для стихотворения с политическими намеками («я мыслил имя роковое предать развалинам иным»), конец которого («пишу я наши имена») вызывает в памяти другую, более раннюю пьесу, обращенную к тому же Чаадаеву:

...взойдет она,
Звезда пленительного счастья:
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Но тем более знаменателен источник пушкинского вдохновения: послание к другу вольнолюбивой юности родилось от мысли о знаменитой дружбе мифологических героев: «литература» оплодотворяла «жизнь».

Здесь нелишне отметить, что автор сентиментального «Путешествия в полуденную Россию» В. Измайлов, посетив в 1799 г. Георгиевский монастырь, пересказывает в соответственном месте книги миф об Ифигении, Оресте и Пиладе и умиленно добавляет: «Мне довольно знать, что редкое торжество дружбы происходило на сем полуострове».

После посещения Георгиевского монастыря путешественники направились в столицу крымских ханов, в Бахчисарай.

Пушкин пишет:

«В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К. поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*. Вошел во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевет, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. N N (Раевский. – Г. Ш.) почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище.

Но не тем
В то время сердце полно было:

лихорадка меня мучила. Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М(уравьев-Апостол), я о нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался».

Бахчисарай в то время был еще крупнейшим городом Крыма с восьмидесятысячным населением, туго заполнявшим кривые переулочки, толпившимся на знаменитом базаре вокруг крошечных восточных лавчонок, кофеен и закусовых. Над городом подымались тридцать три минарета, и в густом саду скрывался ханский дворец, и белели украшенные мраморными чалмами и арабской вязью надписей надгробия ханских могил. У многочисленных фонтанов можно было видеть открыто моющихся

татар; в одной из мечетей помещалась мусульманская школа, где десятки сидящих на корточках ребят хором выкрикивали заучиваемые наизусть непонятные им строфы Корана. В некоторых мечетях совершались исступленные ночные бдения «вертящихся дервишей», экстатическая секта которых не перестала существовать, кажется, и поныне. Восточный колорит с наибольшей, чем где бы то ни было в другом городе Крыма, сочностью сказывался в Бахчисарае пушкинских времен.

Ханский дворец был в большом запустении: выщербленные изразцы порталов, осыпавшаяся штукатурка покоев, случайная мебель, запасенная еще по приказу Потемкина для собиравшейся посетить Крым императрицы, выцветшая и изломанная, – все говорило о полном отсутствии внимания к историческому памятнику. Легкие и узорчатые киоски, где когда-то обитали ханские жены и наложницы, стояли без окон и дверей или же были превращены в склады всяческой рухляди. Но, несмотря на это, дворец давал достаточно простора исторической и поэтической мечте. Чего стоил хотя бы один «кафат» – потайное окошечко на хорах того зала, где заседал ханский совет, диван. Притаившись за этим окошечком, хан мог слышать весь ход прений дивана и судить, «справедливо» или «несправедливо» решают дела его сановники. Все традиционные представления о государе как о верховном неподкупном и справедливом судье, все мечты мусульманского Средневековья о таком монархе, создавшие легенду о Гаруне-аль-Рашиде, воплотились в этом окошечке. Ханское кладбище также было примечательно. Измайлов пишет о нем:

«Мавзолеи, поставленные в саду ханском, заросшие густыми деревьями, покрытые священной тенью, возбуждают благоговейный трепет в тех сердцах, которые умеют чувствовать».

Среди памятников выделялось обширное надгробие, воздвигнутое ханом Керым-Гиреем над могилою своей жены, грузинки. Об этом памятнике упоминает еще Сумароков, и подробно описывает его Муравьев-Апостол.

Приведенные выше строки пушкинского письма вновь подчеркивают уже сложившееся наблюдение о малой заинтересованности Пушкина конкретными и бытовыми чертами. Правда, в Бахчисарае приехал он, хворая лихорадкой, – но если это и мог-

ло помешать пристальному осмотру любопытного города, то все же хоть некоторые черты, наблюденные при проезде через него, могли бы запечатлеться. Характерно то разочарование, которое сквозит в зарисовке *поэтически описанного* «фонтана слез». Спустя немало лет с таким же разочарованием описывает Пушкин в «Путешествии в Арзрум» пресловутую «азиатскую роскошь». Это первое несовпадение «поэзии» и «правды» сразу отбило у Пушкина охоту к дальнейшему знакомству с ханским дворцом, и старый генерал Раевский почти насильно должен был тащить равнодушного поэта в развалины гарема и на кладбище – причем самый заметный памятник последнего, громадный венчаный куполом мавзолеей над могилой любимой жены Керым-Гирея, попросту не был замечен поэтом. В дальнейшем Пушкин легко «позабыл о нем» при создании «Бахчисарайского фонтана», хотя этот памятник и связанная с ним легенда могли дать немало колоритных штрихов для поэмы. Ссылка на лихорадку не все оправдывает.

Замечательной чертой приведенного отрывка является самопародирование Пушкина. Как известно, в «Бахчисарайском фонтане» Пушкин описывает свое посещение ханского дворца; говоря о своих переживаниях, поэт дает такие строки:

Где, скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось... Но не тем
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной...

Оказывается же, что ни «волнения», ни «летучей тени», ни «невольного забвенья» – не было, что сердце поэта поистине «не тем полно было»: что просто Пушкина донимал озноб...

Еще черта, указывающая на эмансипацию поэзии Пушкина тех времен от действительных жизненных впечатлений.

Восьмого сентября Пушкин и Раевский были уже в Симферополе, а 21 сентября поэт прибыл в Кишинев. От Симферополя до Кишинева около 700 километров. Если дорога заняла у Пушкина семь или даже восемь дней, то и тогда на пребывание в Симферополе приходится четыре или пять дней. Этот период ни одной строкой не отмечен ни в воспоминаниях, ни в стихах Пушкина («Брега веселые Салгира» вернее всего относится не к симферопольскому Салгиру, а к гурзуфскому Сунарпутану, так как «салгирами» в Крыму называют пересыхающие русла речек, а кроме того, дальше говорится о склонах «прибрежных гор», о «таврических волнах»), равно как небезыntenесная дорога через Перекоп, устье Днепра и пр. Правда, поэт хворал лихорадкой, уехал тоже больным (см. письмо А.И. Тургенева к П.А. Вяземскому от 3 ноября 1820 г.; Ост. Арх., II), на обеде в честь Раевского у губернатора Баранова не присутствовал, но нездоровье его было очевидно не очень сильно, иначе его больным непустили бы в нелегкое путешествие в Бессарабию.

Мы опять встречаемся с отсутствием активной заинтересованности окружающим.

Виделся же в Симферополе Пушкин с незаурядными людьми. Там был крупный ученый, химик Дессер, в доме которого (сохранившемся до сих пор) остановился Раевский и, вероятно, Пушкин; блестящий граф Ланжерон, сподвижник Ришелье; наконец, крупной личностью являлся и губернатор Баранов, близкий знакомый А.И. Тургенева, обладавший редким организаторским талантом, приведшим его в возрасте 23 лет на пост губернатора... Поэт ни одним звуком не упоминает об этих лицах...

Суммируя внешние данные месячного пребывания Пушкина в Крыму, мы видим, что пушкинское общение с людьми состояло в беседах на исторические, политические и литературные темы, в осторожном ухаживании за девицами Раевскими; что его восприятие природы и обстановки было пассивным и вялым, и реакция на эту обстановку пониженной. Между тем мы знаем, что Пушкин не был чужд политической мысли, стоял близко к декабристам, усердно посещал в Кишиневе политический салон Орлова, мужа Екатерины Раевской, кипел в политических спорах в Каменке, страстно реагировал на вести о восстании гетерис-

тов, наслаждался беседой с Пестелем («умный человек в полном смысле слова»), «эпатировал» (порой довольно безобразно – случай с Балшем) молдаванских бояр, жадно присматривался к кишиневскому быту и тут же закреплял впечатления в эпиграммах и сатирах...

Перед нами как будто два разных человека...

Летом 1927 года Георгий Шенгели уехал из Москвы в Крым – подалее от готовящихся пышных торжеств по случаю первого юбилея большевистского государства. И от опасностей, нависающих (пока незримо) над его собственной судьбой. Уехал, как полагал, насовсем – вернулся на родину. В Симферополе он преподает в институте (будущем университете), много переводит, пишет стихи и беллетризованные мемуары «Черный погон». Начинает работу над историей некогда славного Боспорского царства, в бывшей столице коего, Пантикапее (Керчи), он родился и вырос. И над книгой «Пушкин в Крыму». Полтора года спустя ему приходится покинуть Крым. Но и в Москве задержался ненадолго: предупрежденный товарищем о готовящемся разгроме Государственной академии художественных наук (ГАН), где Шенгели – после смерти Брюсова – возглавлял отделение изящной словесности, отправился преподавать в Самарканд, в тамошний пединститут. И там опубликовал первую главу книги о Пушкине, к работе над которой уже не вернулся. Эта, на мой взгляд, замечательная публикация по сию пору остается практически неведомой и пушкинистам, и – тем более – читателям...

Вадим Перельмутер

Печатается по тексту сверенной с авторской машинописью единственной публикации: На путях культурной революции. Выпуск 1-й. Изд. Узбекского государственного высшего педагогического института. Самарканд, 1930, с. 55-76; подпись, Проф. Г.А. Шенгели.

Основные примечания сделаны Шенгели, немногие добавленные автором этих строк помечены инициалами в косых скобках.

«У беспокойного Никиты, // У осторожного Ильи»... – Никита Муравьев и Илья Долгогуров.

Павел Сумароков – Сумароков Павел Иванович (1760-1846), писатель, в конце XVIII был крымским судьей, его книги «Путешествие по Крыму и Бессарабии в 1799 г.» (1800) и «Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (1803-1805) положили начало исследованию Крыма и принесли автору славу «первооткрывателя земли крымской». /В. П./

...*остановились у Броневского* – редактор «Писем» Пушкина (т. I, с. 212-213) Б.Л. Модзалевский приписывает Броневскому, ссылаясь на Геракова, сочинение «О Южном берегу Крыма». Ту же ошибку повторяет проф. Е.В. Петухов в очерке «Крым в русской литературе» (Симф., 1927, с. 7), называя Броневского вдобавок Владимиром Богдановичем. «Пушкинский» Броневский, Семен Михайлович, является автором «Новейших географических и исторических известий о Кавказе»; автором «Обозрения Южного берега» является его кузен, морской офицер Владимир Богданович, с которым именно и виделся Гераков 25 августа 1820 г. в Симферополе. Брат последнего, Семен Богданович, губернатор Сибири (ср. в заметке Брюсова «Пушкин в Крыму». «Соч. Пушкина», Венгеровское изд., ст. II, и А.А. Бертье-Делагард «Память о Пушкине в Гурзуфе». «Пушкин и его современники», вып. XVII-XVIII, с. 105).

...*Хранящих герб // То дожей, то крымских ханов* – «Молитва о городе» (1918). /В. П./

Какие новые товары... – «Евгений Онегин. Отрывки из путешествия Онегина». /В. П./

Andrieux – ресторатор.

Этот кипарис стал легендарным... – впрочем, как утверждает Бертье-Делагард, кипарис, показываемый ныне в качестве «пушкинского» и воспроизведенный на сотнях открыток, как раз не тот, о котором говорит поэт.

Семен Бобров в своей «Тавриде» – Бобров Семен Сергеевич (1763/65-1810), поэт; поэма «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе» (1798). /В. П./

«Confiance perdue ou le Serpent mangeur de kaimak» – «Потерянное доверие, или Змей – пожиратель каймака». /В. П./

...*смотрела на Вечернюю звезду, называя ее своим именем...* – здесь имеется в виду известная элегия Пушкина: «Редеет облаков летучая гряда». По вопросу о том, к кому из девиц Раевских относятся заключительные строки элегии: «И дева юная во мгле тебя искала //

И именем своим подругам называла» – мнения исследователей расходятся. Вечерняя звезда, Венера, в католической мистике иногда называется «звездой Мариин», быть может, поэтому Мария Раевская могла называть ее «своим именем». Но нам кажется, что более обоснованно другое мнение, относящее элегию к Елене: по античному мифу, который с большим вероятием можно считать известным в семье Раевских, культурно выросшей на почве французского классицизма, впитавшего в себя множество античных элементов, Елена Спартанская превратилась в Вечернюю звезду. Однако, так как сам Пушкин говорит, что в Гурзуф они прибыли «при свете утренней Киприды» (то есть Венеры), а Венера утренняя становится вечерней только через полгода, то возможно, что Елена приняла за Венеру почти столь же яркий Юпитер, и тогда последние строки элегии приобретают слегка насмешливый характер (ср. Вересаев. «Таврическая звезда». Пушкин и его современники, вып. XXXVII).

«К... поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*» – есть авторитетное мнение, что рассказ о «Фонтане слез», слышанный Пушкиным еще в Петербурге от Николая Раевского, был повторен ему в Гурзуфе не Екатериной, но Марией Раевской, бывшей якобы предметом страстной и глубокой любви поэта, и что буква «К» в письме к Дельвигу поставлена Пушкиным нарочно – с целью замаскировать подлинный источник рассказа о фонтане. Это было будто бы необходимо ввиду ряда нескромностей, совершенных друзьями и литературными знакомыми Пушкина в связи с историей написания «Бахчисарайского фонтана» и с фактом гощения поэта у Раевских. Не касаясь здесь вопроса о том, была ли пятнадцатилетняя Мария знаменитой «утаенной» любовью Пушкина, мы заметим, что странно было бы «отводить» мысль от семьи Раевских, заменяя подлинный инициал «М» фиктивным «К»: носительница этого инициала тоже ведь была Раевской. Соображение же П. Щеголева, что название светской девушки в рассчитанном на печатание письме к приятелю одним инициалом имени (Катерина) было бы «невозможной грубостью», нам представляется чересчур утонченным: прежде всего, в письме к Вяземскому Пушкин называет Екатерину Николаевну именно Катериной, в донжуанском списке Пушкина имеется целых четыре Катерины; наконец здесь, как уже многократно указывалось, возможно подразумевать уменьшительное имя (Катя, Кэт, Китти).

Предположение же, что читатель должен был букву «К» принять непременно за инициал фамилии, ровно ни на чем не основано.

...автор сентиментального «Путешествия в полуденную Россию» В. Измайлов – Измайлов Владимир Васильевич (1773-1830), писатель, журналист, в 1799 г. совершил путешествие по Южной России, упоминаемая книга вышла в 1800-1892 гг. /В. П./

...химик Дессер – французский химик Ф.А. Дессер в 1807 г. провел первые исследования грязей в Саки, положив начало знаменитому курорту. /В. П./

...блестящий граф Ланжерон – Александр Федорович Ланжерон (Луи Александр, 1763-1831), офицер французской армии, затем генерал российской, с ноября 1815 г. херсонский военный губернатор, градоначальник Одессы и управляющий по гражданской части Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерний. /В. П./

...губернатор Баранов Александр Николаевич (1793-1821) – таврический губернатор (1819-1821). Губернатором он, правда, стал не в 23 года, как указывает автор, а в 26, что, впрочем, тоже говорит о «редком организаторском таланте». /В. П./

...случай с Балшем – о конфликте Пушкина с Тудором Балшем см., например, воспоминания И.П. Липранди и П.И. Долгорукова. /В. П./

Публикация Вадима Перельмутера

